

Смена - Санк - Петербург - 1992 - 12 авт.

ТРИ ЭПИГРАФА К РАЗГОВОРУ

«Станислав Рассадин внешне — интеллигент-очкарик, а физически весьма склон; грозный ругатель, отчего прыгает в отношениях дружеских и деловых, — он при этом настолько добр, что тратит немало усилий на сокрытие этой слабости».

Натан Эйдельман

«Два я опубликовал в газете «Московский литератор» письмо, в котором обращал внимание общественности на то, что критик С. Рассадин позывает себя в «огоньевских» статьях оскорблением и клеветнические выпады по отношению ко мне...»

Станислав Куняев, газета «День», 2-3 августа 1992 года

«Коль суждено — и, быть может, давно пора — разиться, разойтись как говорится, красиво. Не торкаться, вспыхнуто, подоночно, прощаясь с истиной стадности, с нашей вечной партийностью...»

Станислав Рассадин, «Литературная газета», 22 июня 1992 года.

Станислав Борисович вернулся на пенсию. Для многих первая троека началась со своих номеров обновленного «Огонька», со статьей о литература — вахин, Бенедикт Сарнова, Татьяны и Натали Ивановых. Естественно, что это было нечто, что понимают как настоящий. Но очевидно, что здесь, круг авторов «перетворенного «Огонька» участвовал в процессе личности отражавшийся в литературной критике и публицистике. Разговор шел как бы в литературе. На самом деле совершился о другом. Тот процесс завершился. Можете ли сейчас сказать, где вы и с кем вы?

— Я не могу на себя глядеть со стороны и, тем более, анализировать, какие со мной произошли перемены. Это вредящее профессиональному самочувствию занятие. Но вообще должен вам сказать, что я очень давно не ощущаю себя участником процесса! Просто между мной и «процессом» возможны какие-то соплодия. Может, это проявляется самонадеянностью, но я никогда не был «каким-то человеком».

Когда-то, например, я считался критиком «Нового мира». И даже попал в знаменитое «письмо одноднадцати» — авторы его оказались мне чист, назвав свое имя в ряду чудовищных «антисоветских» критиков, подымающих основы социалистического строя... Но это, к сожалению, неправда, я не был человеком и «Нового мира». Давно когда-то Мария Илларионовна Твардовская, с которой мы познакомились в Доме творчества, предложила мне написать воспоминания для сборника «Памяти Твардовского». Она была потрясена, когда я сказал ей, что никогда в жизни Твардовского не видел. — Как? Вы же были одним из самых активных критиков «Нового мира»! — Тем не менее, мы ни разу не встречались. Когда я стал печататься в «Огоньке», то с Коротким мы виделись всего дважды раза — у нас было чисто школьное знакомство... Дело в том, что я нико не люблю петь сначала — хороши одно или плохие. Больше всего я ценю — может, это болезнь — собственно независимость. И вообще, главное достижение моей жизни — то, что я всегда создавал вокруг себя нехий вакуум. Я не ходил на собрания, не вступал ни в какие групппы. Не говорю уж про партийность...

Однако же со стороны вы всегда воспринимали как человека определенного лагеря...

Конечно, если это вы видите — значит, это спрavedivo. И если у меня такая репутация, пусть она очень схематична — то я это по-своему дорожу. Просто я не прилагал никогда никаких усилий, чтобы примкнуть к определенному лагерю...

И, кстати, лучшие свои книги я написал как раз в тот период, когда был выброшен из критики — после закрытия «Нового мира». То есть критикой было заниматься как бы можно, но она просто потеряла смысл. Поскольку можно было ругать Евтушко и Вознесенского, но нельзя было ругать, допустим, Сорокина... Я ушел на критике, заряжаясь посторонними делами, сообразил писать в стол книгу о Пушкине. И мне страшно повезло. Меня выгнали один очевидный человек в издачестве «искусства» и предложил мне писать эту книгу вместо того, что этого не было. И я стал заниматься тем, кому меня тянуло больше всего. И что в моей жизни пока лучше из всего, что было. В этом смысле 19 век меня сохранил. И долго будет хранить.

— Последние пять лет не отлучил вас от 19 века?

— Нет, я из него не ухожу. Продолжаю заниматься, но большую часть у себя в подполье... А кроме того, некоторые статьи выходят. В «Эзме» написана для меня важная статья, она называлась «Без Пушкина, или Начало и конец гармонии». Там я, Наконец, сформулировал для себя суть явления русской поэзии, как она возникла и почему она исчезла, как я считаю. Кроме того, написал для зарубежной истории русской литературы цикл статей, посвященных 19 веку. И потихонечку готовлю две книги, которые вовсе не обязательно будут напечатаны. Но написать их начну. В одной из них — хочу собрать и подытожить мои деяния размышления о Мандельштаме. Другая — со слегка осорным названием «О психиках, графоманах и дураках совершенно серьезных». Правда, книга отнюдь не фельетонная, наоборот. Книга об очень серьезных вещах, там будет история литературы, и роль графоманства в литературном процессе, и роль безумия даже... Там будут и Батюшков, и Хабестов, и Соболевский, и Мятлев. Понимаешь, девятнадцатый век. Оттуда все мои претратки, все мои любовь. Тем не менее я публицистическая ваша античность не убивалась — при том, что многие из тех, кто был с вами рядом на «Огоньке», на «Смене», зашли или разбежались в Быту, Станислав Борисович с прежней лихой охотой занимается публицистикой?

— Может быть, даже с большой. Да и слово «схватка» здесь не подходит — это не охота, а бой... Мне больше пишать о том, о чем я сейчас пишу! Раньше — была охота, было больше интереса спортивного интереса, врезать, влезть... Ну, это было довольно просто. Та моя статья — более броская, более, может быть, остроумная. Было — как в коржавинских стихах: «Брага пред собой, а друзья за тобой». Сейчас я, к сожалению, больше пишу как раз о том, что мне разонравились люди, которые раньше нравились. И меня сейчас больше пугают не какая-нибудь погода вроде Куняева или Пранхона. Меня пугает то, что происходит, допустим, с Гаррилом Поповым, с людьми этого типа — люди вашего поколения, «шестидесятники», сегодня, и правда, дают все больше, говорят, что хотят, чтобы все было хорошо, чтобы мир был лучше... Я знаю, что вы выступаете в античном виде, но я не могу поговорить с вами о шестидесятничестве, не согласитесь, что число красноречиев этих примеров увеличивается. И даже мне кажется, что хотя бы физиономия этого поколения, в отличие от Коротки, или противостоящие ему разрушительные по своим результатам Евреев и Дорени, не имеет ничего общего с теми, кто в свое время был лидером, — это Кортин, Борисов...

— Во всех этих примерах не вижу ничего «поколенческого». Говорю, к примеру, мне совершенно не интересен Т, что случилось с Власовым, — закономерно. Он плохой литератор, и ему просто некуда было больше пройти, как к националь-патротам. Там легко прощают друг другу бездарность. Что касается Козакова... Его отъезд и то, что с ним происходит, — это маленькая драма, настолько глубокая, что

стало сплоченным. Но как быстро они разбежались! Ну, услышано говоря, где Бондарев, где Бакланов! С шестидесятниками же, понимаете, какая штука... Было настроение общее, которое многие разделяли. Люди с иллюзиями, люди без иллюзий, и лучше, и худшие. Это было то, что сформулировал Окуджава, не Случинский, а Евтушенко, Радищев. В оде «Вольность». Ко многим нашим настроениям приложили эти строчки: «О вольность, вольность, дар бесценный, позволь, чтоб раб тебе востился...» Вот это необходимо для общества состояния, когда раб, еще будучи рабом, просит у самой вольности разрешение ее воспользоваться — это есть, если угодно, шестидесятнический комплекс... Но, понимаете, я все равно не люблю этих абстрактных понятий, хотя и признаюсь ими пользователь. И тогда мы были все очень разные. Естественно, нам хотелось быть близкими друг другу, и время было веселое, и вслед за пьянством... Это тоже имело значение! Я в то время очень сильно пил, как все мы. А когда поубавил — вдруг увидел, что многие из моих друзей мне стали гораздо менее интересны... Это и есть причина, почему я снялся с «шестидесятников»...

Если говорить о сегодняшней атаке на шестидесятников, меня раздражает именно то, что она неисторична! Нас всех задним числом сплачивают Горбатым, а сама я со своим святым примером — синдромом Горбатина и Юрия Власова...

— Во всех этих примерах не вижу ничего «поколенческого».

— Я держусь за свою

ограниченность

как за часть своего

вкуса. Я не хочу

впускать в себя

все...

— говорит критик

и литераторовед

Станислав

РАССАДИН

отступили перед этим плохим. Провал перестройки — это провал лицемерия. Но то, что они — часть шестидесятников, наиболее запутавшаяся в социалистических иллюзиях и наилучше либеральная, — начала перестройку, все равно это их великая заслуга.

Улыбайтесь, я вообще люблю обинять. Вот я говорю, что Коротчи — человек на моего круга. Но я к нему отношусь гораздо лучше, чем к самому себе. В Дании у меня было разговор с друзьями, которые чуть не хлопали в ладоши, когда я был Коротчи, мы его прижали к стенке, потому что он не признается в том-то и в том-то. Я им сказал: ребята, ваше дело, конечно, так поступать, но вот, предположим, ты претензион, что вы предъявляешь к нему, мы не сможем предъявлять к мне. Так получилось, что я не винил, не писал того, чего я не знал. Но уважаю вас, что мой жизнью стоит в нескольких тысячах раз меньше, чем жизнь Коротчина! И это не самоуничтожение. Я все-таки всегда был, не сомните, я всегда был, как мой любимый Денис Давыдов — партизаном. И в литературе тоже. Я всегда на обличках шутил, старалась не лезть в самый центр. По лесам, в общем, шныряла...

А вот люди, которые делали это дело, да, они, может, больше замарались, заслужили гораздо больше упреков, чем люди моего типа. Но вот как раз такие, как я, должны скромно знать свое место. И Горбачев поэтому я глубоко уважаю, как бы я к нему лично относился. У него есть историческая роль — это я отдаваю ему. Когда говорю о Притове, меня огорчает то, что он мне неинтересен, — а то, что Олейников делал это в миллион раз лучше. У меня нет места, я всюду партизан!

А если речь о том, что я не приемлю андерграунда... Видите ли, я не боюсь слова «ограниченность». Я помню, что в нем есть вполне благородный корень «гранича».

Я прожил большую часть своей жизни, моя вкусы сложились. Но мне в голову не приходит, улас Бог, считать, что я совершенен прав. Когда я говорю о Притове, меня огорчает то, что я еда пирожки...

— Куда Куда я их не могу допустить? Чем я владею? Вниманием публики? Ну за внимание публики какий скандал?

— Вы упомянули их в том, что они хотят стать ориентиром, пытаются свергнуть авторитеты, занять места талантливых шестидесятников. А можно это сделать?

— Куда Куда я им не могу допустить? Чем я владею? Вниманием публики? Ну за внимание публики какий скандал?

— Я Искандер, Евтушко — куда могли бы пустить?

— У меня нет журналов, ни газет... У меня не было и нет такого органа, где я бы пользовался каким-либо влиянием. Где бы я мог что-то перекомендовать для напечатания. У меня нет места, я всюду партизан!

— В Виннициных писательских артизах вы не участвуете?

— Боже упаси! Я даже не знаю, как называется тот союз, в котором я состою. Вот сейчас мне прислали бумагу: я должен определиться, в каком я союзе.

Но тут ведь оказывается в каком-то лагере не потому, что там тебе все нравится, а потому, что, как писал Гамлет, «некуда податься кроме них...» Конечно, я окажусь в том союзе, где нет Бондарева, Кучавы, Прокопова, и прочих.

— Вы в статьях своих по-прежнему к этим фигурам возвращаетесь...

— Потому что они мне омерзительны. И взирать на них философский склонности не получается.

— А почему бы не попробовать привлечь их к статьям?

— Не надо уж меня до такой степени краином-просветителем считать! Говорите о статьях применительно к ним — это идиотизм. Не случайно же к поэзии воззрят на Бондарев, в Лихачев.

И является наиболее совместивые, лучшие и, как правило, безгрешные или грехиевые очень мало. Я уже писал, что мы засыпались в «покоях». Мы все смеялись, какая-то уважаемая звезда, но не знала по пражкой кочетковско-сборновской компании, как они друг друга не ненавидели! Кто-то урвал кусок пожарного, кто-то ухватил Золотую звезду, кто-то опоздал... Но они точно знали, что им нельзя вразброс, что они сильно вынуждены всплыть.

Думают, что нет. Я не исключаю того, что они побоятся.

— Думаю, что нет. Я не исключаю

того, что они побоятся самым страшным

физическим образом.

Но дело в том, что это не будет, и это никого не будет.

Злы люди объединяются именно потому, что они «шестидесятники».

Я же знаю по пражкой кочетковско-сборновской компании, как они друг друга не ненавидели! Кто-то урвал кусок пожарного, кто-то ухватил Золотую звезду, кто-то опоздал... Но они точно знали, что им нельзя всплыть, что им нельзя вынуждены всплыть.

Честно вам сказать — отчасти да.

Вот я читаю, ё какой Невинность говорит о шестидесятниках Фридрих Гебенштайн.

Для него это слово во всех

отношениях ругательство! И эта невинность, это идиотизм...

— Ради Бога... Но будем точны: перестройку начали люди, которые были шестидесятниками по возрасту. Просто потому, что никто другой её не начал.

Ни я, ни Окуджава, ни Евтушенко — хотя бы из-за недопущенности к власти.

Могли начать её только Гарриль Гарбачев, который был самым молодым из них.

Я говорю о том, что не для меня это не имеет значения, это идиоты. Потому что за этим стоит определенный... изолотой запас.

Я здесь не вижу попытки самоутвердиться, я вижу попытку самовыражения.

Извините, я терпеть не могу эти слова...

— Дело только в вкусе?

— Думаю, что да. Вкус вообще выше всего. У Синявского есть замечательная фраза: «Чтобы писать эстетику, нужно не писать эстетику, а писать эстетику».

Для него это слово во всем выше всего.

Но почему это слово во всех

отношениях ругательство?

— Я в этом убеждена все больше.

Это поиск очевидного врага.

Этот враг достаточно пристройки к тому, чтобы выжить.

Сейчас это враг, который мне не нравится.

Но я не могу сказать, что я вижу врага.

— Вы думаете, что критика шестидесятничества — это позиция врага?

— Я в этом убеждена все больше.

Это поиск очевидного врага.

Этот враг достаточно пристройки к тому, чтобы выжить.

Сейчас это враг, который мне не нравится.

Но я не могу сказать, что я вижу врага.